

УЗ/2  
Ф18

Насыр Фазылов  
**ЖАРКИЙ МЕСЯЦ**





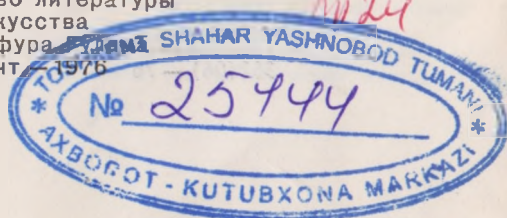
821 512 133-31  
47 16

НАСЫР ФАЗЫЛОВ

# ЖАРКИЙ МЕСЯЦ

Повести

Издательство литературы  
и искусства  
имени Гафура  
Ташкент, 1976



У32  
Ф16

Фазылов Н.

Жаркий месяц. Повести. Пер. с узб. яз. Изд. для лит. и искусства,  
1976.  
288 с.

Предлагаемые читателю повести узбекского писателя Насыра Фазылова достоверно отображают жизнь нашего современника, судьбы нашей эпохи. Темы классовой борьбы, дружбы народов, борьбы с пережитками прошлого, мужества и стойкости наших советских людей — занимают ведущее место в предлагаемых произведениях.

У32

Ф  $\frac{70303-192}{352(06)-76}$  48-76

## ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ

Насыр Фазылов обладает счастливым умением — занимательно поговорить с читателем — и взрослым, и юным. Сюжеты его динамичны, полны острых столкновений, неожиданностей. При всем при том, — и это, наверное, самое важное, — в произведениях Н. Фазылова достоверно отображена жизнь нашего современника, судьбы нашей эпохи. Много внимания уделяет автор и теме классовой борьбы. Ей посвящена, например, повесть «Домбра старого Суюма».

Шаг за шагом подводит Н. Фазылов своего читателя к выводу о том, что собственническая психология не отмирает сама собой одновременно с ликвидацией эксплуататорского строя. Писатель показывает, как захребетник, подобный богачу Хайдарбаю, приспосабливается к новым условиям, в душе оставаясь, разумеется, заклятым врагом нового общества. Здесь важно отметить, что с еще большей убедительностью показывает автор силу, которая решительно противостоит всем тем, кто не может расстаться с привычкой — жить за чужой счет. С бывшим баем и муллами, их приспешниками вступают в беспощадную схватку трудовые люди и в соответствии с правдой жизни одерживают победу. Это — прежде всего поэт-самородок Суюм и его друг, пастух Аскар.

Нет предела лицемерию и подлости Хайдарбая. Он отправляется, например, сватать дочь убитого по его приказу человека за своего ублюдка-сына и для достижения своих целей не гнушается ни угрозами, ни вероломством, ни ложью. Этим он похож и на других заклятых врагов новой жизни.

Всеми силами вчерашние «хозяева жизни» пытаются сохранить ускользающие привилегии, свое господство над дехканами; они звереют от бессилия и ярости, но само время, показывает писатель, против них.

Сила художественного произведения в том, что значение его не ограничено рамками описанной эпохи.

Вот так и повесть, казалось бы, об уже далеких годах становления Советской власти в Узбекистане будит мысли и ассоциации, касающиеся незатухающих очагов классовой борьбы во многих точках планеты в наше время.

В повести Н. Фазылова с большой силой звучит и другая тема — тема пролетарского интернационализма. Несправедливый социальный строй неизбежно порождает эпидемии шовинизма в самых уродливых формах. Для Хайдарбая не только Суюм-ага, но и богач Ярлык — существа низшие, потому что они «казахи, не ведающие мечети». Но рядом автор рисует широкую картину братских отношений между трудящимися — казахами, узбеками, русскими — дружбу, рожденную общностью классовых интересов и революционной судьбы.

Тема дружбы советских народов звучит у Н. Фазылова горячо и взволнованно. Она окрашена лирическим звучанием в повестях «В родном Каркарали» и «Жаркий месяц», действие которых происходит в годы Великой Отечественной войны. Автор показывает эту дружбу как подлинно могучую силу, активно противостоящую фашизму.

События повести Насыра Фазылова «Жаркий месяц» разворачиваются в небольшом кишлаке. Жители его мужественно переносят

испытания, выпавшие на долю всего народа. Трудоспособные мужчины ушли на фронт. Их место заняли старики, старухи, вдовы, подростки. Нелегко им справляться с работой в поле.

В кишлак приезжают русские, украинские, польские семьи, пережившие ужасы войны, измученные, голодные, выбившиеся из сил. С помощью дехкан эти люди крепнут физически и морально. Они становятся равноправными членами колхоза. Возникает тесная дружба приезжих с жителями кишлака.

Происходит этот процесс, конечно же, не сразу. Обозленная трудностями, тетушка Зулайха обливает грязью чистые чувства, зарождающиеся между Турой и Камилой, обижает больного мальчика Франтишека.

Да, не каждый способен одинаково стойко переживать тяготы и лишения, которые принесла война. Но в целом, справедливо утверждает писатель, люди из маленького кишлака, как и весь советский народ, выдержали тяжелейшее испытание с честью.

Ни разу не декларирует Н. Фазылов тезис о дружбе народов; он стремится художественно исследовать источник интернационализма, раскрывая прежде всего характеры своих героев и через их поступки убедительно показывает главное: благодаря чему победили мы в тяжелой войне.

Социалистический строй, говорит своим произведением автор, воспитал людей различных национальностей в духе социалистического сознания и интернациональной дружбы. Это нашло отражение в беспримерном героизме солдат на поле боя, в трудовых победах в тылу.

В каждой детали остается писатель верен своей главной теме — теме новых связей между людьми, новой морали, которая в испытаниях и трудностях неизменно укрепляется и побеждает

*Пирмат Шермухамедов*

## ЖАРКИЙ МЕСЯЦ





Сумей увидеть, сердцем угадай —  
Ведь слов не знает он, любви язык.  
Сердца соединяет навсегда  
Свидания немом краткий миг.

*Абай*

1

Разгар лета. Время, когда колос ячменя окрасился в цвет бронзы, а колоски пшеницы только еще начали желтеть, и дыни, распустив длинные стебли, сами уже с башмак величиной. Как издавна говорят дехкане: пора, когда толстое вытягивается, а тонкое рвется.

Солнце как будто остановилось в зените — и вся земля задыхается от зноя, а далеко на горизонте проступают серебристые миражи, колышутся, манят к себе... В такие дни все живое даже в тени места себе найти не может. Летом для скотины — отдых, раздолье, но и мука от комаров да слепней.

А для неразлучных друзей Тураджана и Камилы только летом приходит пора настоящего труда. Верно, кое от кого им доводится слышать: «У вас не жизнь — сплошной праздник! Стадо пускай себе пасется, а вам — знай отдыхай на лужку. Кому трудно, так это нам: хлопок сей, и поливай, и окучивай — поясницу не разогни — и кетменем махай, землю ковырай от зари до зари...» Это все правильно. Однако и скот пасти — совсем не такое легкое дело, как иному кажется. Кто видел, поймет. Ну-ка, пусть попробуют те, кто утверждает, что стадо пасти — легкое занятие, хотя бы один только день провести на летнем пастбище без пятнышка тени, когда солнце прямо над головой и, кажется, мозг у тебя растопить готово, да еще нужно побегать за коровами, собрать их вместе, когда они разбредаются в разные стороны! Вот тогда, пожалуй, поймут люди, такое ли это легкое дело, как им представляется. Пусть-ка еще поглотают пыли, которую стадо подымает за

собой,— узнают, какие печали, какие тяготы у пастуха в летнюю пору!

Ежедневно в полдень стадо направляется к руслу арыка, к тому месту, где на мели широко разливается вода. В это время и Камила с Тураджаном шагают по глубокой пыли следом за скотиной. Жара, духота, однако на них обоих телогрейки, ватные штаны, кирзовые сапоги. Какого цвета их одежда, определить невозможно, да среди густой пыли трудно и различить, кто из них Камила, кто Тураджан. Камила — единственная дочь, единственный ребенок в семье. По ее повадкам, резвости, по манере говорить не сразу поймешь, что она девушка,— должно быть, от того, что выросла на воле и водилась всегда с мальчишками. Потому-то люди называют ее по большей части не Камила, а Камил.

Гыяс-ака, старший пастух, трусит верхом на ишаке впереди стада, держа путь к плесу на арыке. Старик одет в ватный халат, стеганный изнутри, на голове поношенный лисий малахай. Следом за ним — стадо, а потом уж Камила с Тураджаном. Берег арыка, разлив на мелководье — место отдыха и для скота, и для пастухов. Неторопливо струится вода, вдоль берега кусты ивы. Тень, прохлада... Еще и ветерок набегает временами.

Коровы, едва подойдут к берегу, тотчас кидаются в воду. Жадно пьют и никак напиться не могут, животы у них вздуваются, точно пузыри. Затем одни ложатся и дремлют в тени редких ив, другие дремлют стоя, лишь хвостами лениво взмахивают, отгоняя мух; третьи щиплют траву, неторопливо пережевывают.

Гыяс-ака укрепляет черный от копоти кумган над очагом, сложенным из дерна, и принимается кипятить чай. В это время Камила с Тураджаном, скинув телогрейки, разувшись, моют и трут скребком пеструю корову, что забрела в воду по самое брюхо,— кормилицу семейства Камилы. То и дело Камила с озорным хохотом брызгает водой на Тураджана. Смех у нее звонкий, прозрачный — будто серебряные колокольчики перезваниваются. Тураджан тоже не остается в долгу... Пеструха таращит глаза — похоже, не одобряет озорства подростков. А невдалеке от них Гыяс-ака склонился над кумганом, дует изо всех сил на огонь в очаге, бормочет что-то невнятное. Вот он разогнулся — должно быть, дым от сырых сучьев разъедает

ему глаза. Ладонью смахнул слезы, что катятся по щекам, крикнул:

— Камил! Эй, Камил!..

Со стороны плеса сначала доносится веселый хохот, потом слышится:

— Чего-о?

— Гляди сюда, не знать бы тебе горя! — Он оборачивается, шею вытягивает в сторону арыка, но оттуда по-прежнему только слышатся голоса, смех. Старик бормочет: — Выросли, а все никак не оставят ребячества. Да ведь и утомились день-деньской за стадом ходить. Пусть отдохнут малынько!

Наконец показала Камилу, мокрая с головы до ног.

— Вы нас звали, дедушка?

— Да вот сучья, видишь, у меня сырые. Принесла бы порох посуше, да еще кизяку...

— Я сейчас!

Бросив лукавый взгляд в сторону арыка, Камилу направилась вниз по течению.

Немного погодя и Тураджан подошел с Пеструхой в поводу. Вода струйками стекала с его ватных штанов, протертых и порванных на коленях, с ситцевой, неопределенного цвета, рубахи, прилипшей к телу.

У Пеструхи шерсть гладкая, так и лоснится в солнечных лучах, с раздутого живота на землю струится вода. Тураджан отвел Пеструху в тень, сам подошел к Гыясу, опустился на корточки.

— Ты бы, горя тебе не ведать, скинул рубаху да окунулся бы разок, — советует Гыяс-ака.

Парнишка ничего не отвечает. Появляется Камилу с охапкой сухой травы и кизяком. Тураджан кидает в огонь два-три пучка травы, вздымается густой дым — и внезапно пламя ярко вспыхивает. В огонь летят кизячные обломки. Черный от копоти кумган оживает — в нем сначала что-то глухо урчит, потом вода начинает кипеть с громким клекотом. Трое пастухов расстилают дастархан<sup>1</sup> из кустарной ткани на мягкую, пожелтевшую от зноя траву-пальчатку и принимаются за чаепитие. Как обычно, на дастархане одна-две кукурузные лепешки, сыр-пышлак, курт<sup>2</sup>, в тыквенной баклажке айран<sup>3</sup>. У бак-

<sup>1</sup> Скатерть с яствами.

<sup>2</sup> Овечий сыр, высушенный в виде шариков.

<sup>3</sup> Жидкое кислое молоко.

лажки горлышко накрепко закрыто. Гыяс-ака возит ее постоянно с собой. И Тураджан, и Камила, обычно среди дня, утоляя жажду, отхлебывают из баклажки глоток-другой прямо на ходу.

Чай еще не допит и до половины, а Гыяс-ака уже прилег, облокотившись, на мягкую траву. Его молодые помощники заметили: грустным выглядит старик сегодня. Верно, какая-то тяжесть у него на сердце, словно предчувствие недоброй вести. Это уж так всегда у него: тоска, холод на сердце — значит, обязательно придет недобрая весть. Каждый-то день в эту пору полуденного отдыха он разговорчив, чего только не расскажет. А сегодня при молк. Столько уже времени ни слова не произнес, все думает о чем-то. Камила с Тураджаном только молча переглядываются. Но вот прошло полчаса, что-то, видно, пришло старику в голову, он спрашивает:

— Тураджан, тебе в нынешний год сколько исполнится?

Парень сперва молчит, серьезный вид сохраняет, потом приносит, слегка вздохнув:

— Так ведь я тому Абдугани ровесник...

Камила не выдерживает — заливается звонким хохотом и тотчас ладонью зажимает рот. Каждому в кишлаке известно: точно так же ответил Гыяс-ака, когда его минувшей зимой в военкомате спросили про возраст. Сейчас не разобрат — понял он намек или нет, а может, внимания не обратил, только густые брови насупил.

— Э, чтоб тебе горя не ведать! Да почему я знаю, сколько исполняется твоему Абдугани?!

Камила вовремя смекнула: старик вот-вот рассердится не на шутку. Поспешила ответить:

— Тураджану нынче будет шестнадцать.

— Да нет же! — Тураджан поднялся на ноги. — Откуда ты знаешь?

— Хмм... А вот и знаю! — шаловливо улыбается девушка.

— Ничего ты не знаешь!

— Как так? Семилетку мы закончили в позапрошлом, разве нет? Я в школу с семи лет пошла семь лет проучилась. — Камила тараторит без умолку. Загибает пальцы, подводит итог: — Семь да семь, выходит четырнадцать? Да после окончания еще два года... Ну-ка сам сложи, ведь всего шестнадцать?

— Я в тот год, когда в школу идти, болел, потому и школу поступил восьмью лет, понятно тебе? А в этом году мне семнадцать исполнится.

Камиле возразить нечего. Почему-то она все время считала, что Тураджан ее ровесник. Оказывается, гляди-ка: он старше на целый год!

Гыяс-ака лежал молча, не вмешиваясь в спор молодых, и вдруг тяжело, глубоко вздохнул:

— Сынок мой Мансур был бы живой... сейчас бы ему тоже сравнялось семнадцать...

Молчание воцаряется после этих слов старика. Почему-то вспомнился ему сегодня сын. Двухлетний мальчик умер от кори, после него у Гыяса родились две дочери, а сына больше не было. Сколько раз наблюдал он исподтишка за Тураджаном, за всеми его повадками, ловкими да спорыми. Был бы сын, с какой радостью передал бы ему любимое дело всей жизни — занятие чабана! Остался бы в живых сынок, в собственные руки отдал бы ему чабанский посох... А еще... женил бы его на девушке, вот такой, как эта Камила, а там глядишь, и внуков бы нянчил...

Что-то много обо всем этом сегодня раздумывает старый Гыяс-ака. С чего бы? Должно быть, zalюбовался юношеской статью Тураджана, девичьей прелестью Камилы. А может, чистая, простодушная, безгрешная дружба между парнем и девушкой пробудили в нем подобные мысли? Возможно, и так — разве в точности дознаешься?

Тураджан и Камила еще немного посидели молча и искоре как будто забыли про Гыяса. Безделье им наскучило. Тураджан схватил с дастархана шарик курта, попробовал разломить — силы не хватило. Тогда он поднялся с места, взял свою телогрейку, из кармана достал перочинный нож, вернулся на место, раскрыл нож и раскрошил шарик, один ломтик протянул Камиле, другой Гыясу... В тот же миг девушка ловко выхватила у него нож.

— Отдай,— протянул руку Тураджан.

— Хм... Посмотрим, как ты возьмешь!

— Отдай, говорю!

— Ага, вот и не отдам!— смеялась Камила.

— Дай сюда! — парень вскочил на ноги, Камила тоже — и бегом к арыку. Тураджан в три прыжка догнал ее.

— Отдашь или нет?!

— Силы достанет, так возьми.

— Эй, чтоб вам горя не ведать! — поднимая голову от земли, окликнул их Гыяс-ака. — Хватит! Разыгрались, пыль столбом, дым коромыслом... Игра не доводит до добра, верно сказано!

А в это время Камила с Тураджаном, ухватившись за руки, силились перетянуть один другого и оба все ближе придвигались к воде. Не успел Гыяс во второй раз прикрикнуть — мол, будет вам! — оба плюхнулись прямо в воду.

— Эх, чтоб ей, вашей потехе! — выругался, вскакивая на ноги, Гыяс-ака.

Камила первая проворно выскочила из воды. Перочинный ножик она так и не выпустила из рук.

— Стой же, тебе говорю! — крикнул парень, стараясь устоять против течения.

— А вот и не отнимешь, хи-хи! — обернулась Камила, и сама бежать вверх по берегу арыка. Когда Тураджан выбрался на сушу, он замер от удивления.

— Раис-бобо<sup>1</sup>.

По дороге со стороны города приближался одинокий всадник. Гыяс-ака вышел ему навстречу. Сгорая от стыда, Тураджан кинулся собирать и выжимать разбросанную по берегу мокрую одежду.

Подъехав, раис спешил, отпустил гнедого иноходца пасть, сам присел на корточки возле дастархана. Председатель колхоза, человек уже в годах, носил имя Юлдаш, но только ровесники да еще немногие старцы, такие, как Сали-аксакал, называли его по имени или уважительно: Юлдаш-бай, Юлдаш-аксакал<sup>2</sup>. Все остальные звали его просто раис-бобо. Он и сам к этому привык.

Сегодня председатель, обычно неутомимый, добрый, выглядел встревоженным.

— Абдугыяс, как дела? — окликнул он пастуха. Это у него повадка такая: к кому бы ни обращался, перед именем обязательно прибавить по-старинке «Абду»<sup>3</sup>. — Если чай горячий, налей пиалку.

---

<sup>1</sup> Председатель колхоза, бобо — дедушка, почтительное обращение к пожилому.

<sup>2</sup> Старейшина, букв. «белая борода».

<sup>3</sup> Арабск. «раб», т. е. «раб аллаха», начало многих мусульманских имен, ныне чаще употребляемых без этой частицы.

Гыяс-ака нацедил из своего закопченного кумгана чай в деревянную плошку, протянул раису. Тот отхлебнул, удовлетворенно покачал головой:

— Вот, я всегда говорю: чай из кумгана вкус имеет особенный...

Он неторопливо выпил до дна всю плошку, каждый глоток сопровождая прочувствованным «да-а». Такой чай был привычным и для самого Гыяса. Потому-то похвалы раиса его не удивили. «Истомился. День-деньской на коне, под солнцем»,— глянув на него, подумал старик. Раис-бобо допил чай, а плошку, сам того не замечая, протянул Гыясу и спросил:

— Ну как, слепни коров не очень донимают? Далеко еще до времени, когда появятся оводы?

— Пока спокойно,— отозвался Гыяс-ака, снова наливая чай из кумгана в плошку.— Боюсь, как бы вот-вот не появились.

— Молодые справятся,— проговорил раис, о чем-то, видимо, размышляя. Обычно в подобных разговорах председатель старался подбодрить старика: дескать, ты, Гыяс,— прирожденный чабан, и нет в этом деле для тебя неразрешимых задач, с тобой стаду не страшны ни оводы, ни даже волки... А вот сегодня лишь заметил коротко: «Молодые справятся...» В чем дело? Почему он самого Гыяса не помянул? Считает, что все эти заботы ему не по силам? Почувяв недоброе, Гыяс-ака вопросительно уставился на председателя. Тот, должно быть, ради того, чтобы перевести разговор на другое, окликнул Тураджана, который на берегу выжимал свою намокшую телогрейку: — Эй Абдутура, да ты весь мокрый! Все ли у тебя ладно? А где Абдукабил?

— Здесь,— пряча смущение, отозвался парень.

— Ну, добро, если так, приглядывайте за скотиной. А мы с Абдугыасом потолкуем маленько... Да, вот еще что, Абдутура: ты с Гнедого тихонько сними потник да седло, в воду его заведи, обмой, пусть отдохнет, бедняга. Сперва остуди его.

— Ладно...

Тураджану хотелось уйти как можно дальше от того места, где беседовали старшие. Он живо разнуздal Гнедого. Бедный конь в самом деле уморился. И, должно быть, проголодался: даже войдя в воду, тянулся мордой к траве, щипал, с хрустом пережевывал, то и дело взмахивал

хвостом, защищаясь от комаров. Тураджан сперва окатил коня водой со спины, затем принялся скребком водить ему по шее, груди, бокам. Гнедой перестал щипать траву, только потряхивал головой да легонько взмахивал хвостом, блаженно щурил глаза, явно испытывая удовольствие.

Как следует вымыв и выскоблив коня, Тураджан повел его к берегу. Гнедой энергично встряхнулся, так что брызги разлетелись по сторонам, громко зафыркал, заржал и принялся царапать землю копытом.

— Ага, ожил немножко, бедняга!

Тураджан глянул туда, где сидели раис-бобо с Гыясом, — оказалось, они встали и оба направляются к нему.

— Погоди маленько, пусть пообсохнет, — посоветовал Гыяс-ака. — Еще рано седлать... Вон шерсть на спине и крупе мокрая.

— Где у меня время ждать, пока обсохнет? — отозвался председатель. — Ну-ка, Абдутура, давай седло!

Вскочив на оседланного иноходца и взяв поводья, раис-бобо коротко бросил Гыясу:

— Вот так! — и рысью помчался в сторону кишлака.

Понурившись, старик глядел ему вслед. По всему его облику без труда можно было догадаться: председатель поведал ему нечто весьма и весьма важное.

— Камила где, не вернулась?

Тураджан только плечами пожал.

— Так, значит, Тураджан. Важное дело у меня. Сейчас я уеду. А ты скотину потихоньку сгоняй к дороге. Солнце-то уже к закату... Темнеет сейчас поздно, время еще есть. Ишака мне заседлай.

— Хорошо.

...Тураджан проводил Гыяса, подсадив его на ишака, подав хурджун<sup>1</sup> с припасами, потом завернул стадо, а Камилы по-прежнему не видно и не слышно. Что это с ней такое? Неужели притаилась где-нибудь, оттого что боится Тураджана? Так не довольно ли прятаться?

И он решил сам еще немного поугадать девушку. На цыпочках, прячась за кустами, двинулся вверх по арыку. Сделав шаг, останавливался, внимательно разглядывал густые заросли на берегу, стараясь не шелестеть ветками ив, снова осторожно продвигался вперед. Того и гляди, из-за куста вынырнет Камила.

<sup>1</sup> Переметная сума из ковровой ткани.

Каждую секунду ожидая этого, Тураджан с предельной осмотрительностью то крался вдоль берега, то вдруг замирал на месте, прислушивался, оглядывался. Вот словно что-то плюхнулось в воду... Тураджан все внимание устремил в сторону, откуда донесся звук. Опять всплеск воды... «Ага, Камилбай, теперь-то ты мне попался!..» И он присел, притаился за стволом ивы. Отсюда он ее сейчас и напугает... Неслышно раздвинув ветки дерева, вгляделся — и вдруг оторопел, застыл на месте. Перед ним, шагах в десяти, Камила только что вышла из воды. Вышла нагая. Будто не поверив себе, он зажмурил глаза, снова раскрыл: все та же картина!

Так вот какое чудо скрывается за неуклюжей рабочей одеждой подпaska — грубой телогрейкой, ватными штанами, кирзовыми тяжелыми сапогами!

Неслышно поднявшись на ноги, он, словно против воли, шагнул вперед — раз, другой... А в сознании только одно: «Камилбай... да ведь она же девушка!..»

Конечно, он узнал это не сейчас. Но уж очень по-мальчишечьи Камила себя вела столько лет, и все вокруг словно забыли, что она — не мальчишка. Тураджан тоже забыл.

Охваченный волнением, Тураджан даже не замечал, как все более и более приближался к Камиле, неподвижно стоящей у самой воды. Вдруг она подняла голову, взгляд ее упал на Тураджана...

— Уходи! Уходи прочь! — едва придя в себя, закричала она.

Громкий вскрик девушки как будто пробудил его от забытья.

— Убирайся, тебе говорю!

И Тураджан послушно отвернулся, рассеянно побрел прочь. Точно его избили палками до полусмерти... Он волочил разом обессиленные ноги. Сон это или явь? Что же произошло?

Остановился на прежнем месте, над плесом, мысли разлетались, он весь горел, точно в лихорадке.

Наконец, немного пришел в себя, нагнулся, взял в руки посох. Принялся гонять застоявшихся коров — им, после многочасовой жвачки без движения следовало поразмяться немного...

Когда все стадо, рассеянное по лугу, начало собираться возле дороги, со стороны арыка показалась Камила —

все в той же неуклюжей фуфайке и ватных штанах, на ногах тяжелые сапоги, на голове выцветшая ушанка. В руках посох — им она подгоняет коров, слишком удалившихся от стада.

«И это та самая Камила... Она же вот только что...» — проносится в мыслях у Тураджана. Но поднять глаза, взглянуть на девушку он так и не осмеливается.

2

В то самое время, когда Тураджан завел гнедого иноходца в арык и принялся окатывать водой, Гыяс-ака вопросительно глядел на председателя: что, мол, скажешь? Раис-бобо прилег на траву, сперва помолчал немного, а потом заговорил медленно, веско:

— Такие, значит, дела, Абдугыяс. Опять повестка тебе...

Старый чабан не шелохнулся. Только в мыслях промелькнуло: «Первый раз вызывали, да назад отправили: дескать, глаза не годятся... А теперь заберут, ясно. Дошла очередь до таких, как я. На войне, значит, дела плохи...»

Оба долго молчали, как будто придавленные внезапно свалившейся на них грудой камней. «Если мне уходить, — размышлял Гыяс-ака, — худо скотине-то придется».

У раиса было другое на уме: «Если война до такого накала дошла, что же это будет с государством-то нашим? Уже два года, как идет война. И всюду ее следы... вот как у нас в колхозе... Все джигиты, годные к труду, у кого сила в поясице, — ушли, взяты, призваны. Работу пришлось взвалить на женщин, старух, стариков, вроде меня, на таких, как Тураджан. Да и тем, кому вот-вот наступит срок идти в солдаты... Ох, только бы добром все кончилось!»

— Тяжело! — наконец промолвил раис-бобо с горестным вздохом, в единое слово вложив все, что скопилось на душе.

— Да, аксакал, тяжело будет скотине, — сразу отозвался Гыяс-ака. Он продолжал думать о своем.

— Эх, Абдугыяс! — председатель вдруг заволновался. — Не то говоришь. Скотине какая беда? Вон кому тяжело! — Он кивнул в сторону Тураджана, который купал Гнедого в арыке. — Сейчас им самое бы время учиться, набираться знаний. А они следом за скотиной пыль глота-

ют да навоз топчут... Дети ведь совсем, косточки еще не окрепли!

Гыяс-ака не осмелился возразить. Немного погодя рас-бобо оперся локтем о землю, начал подниматься, опять заговорил:

— Значит, так, Абдугыяс. Возвращайся в кишлак пораньше и готовься. А я поеду. Наш колхоз должен принять еще три-четыре семьи из тех, кого война с родных мест согнала. Нужно пристанище им подыскать...

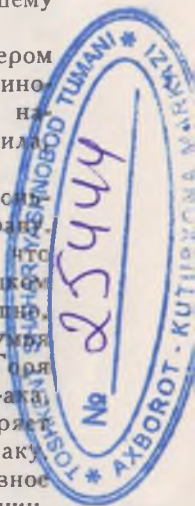
Он сел на коня и уехал. «И ему тяжело, бедному старику,— глядя вслед председателю, размышлял Гыяс-ака.— Вон до каких лет дожил, а покою не знает. Двоих сыновей отправил на войну. На младшего, Каримджана, уже и «черная вест» пришла, несчастного отца горе сломило».

Ближе к закату зной немного поослаб, но все равно воздух оставался горячим, неподвижным, дышалось трудно. От этого, а может, после нелегкого разговора с председателем, у Гыяса обильный горячий пот выступил по всему телу. Он ощущал смутную тревогу, непривычную дрожь в сердце. После отъезда председателя он хотел было еще немного полежать на траве, прийти в себя — однако не лежалось. Он поднялся и побрел к коровам — они недвижно стояли возле плеса, лениво пережевывая жвачку. Обошел их всех, что-то бормоча себе под нос. Все это казалось очень удивительным Тураджану, наблюдавшему за старым чабаном.

...И вот Гыяс-ака трясется в седле верхом на сером ишачке, направляясь в кишлак. Теперь можно в одиночестве поразмыслить о том о сем... Все необходимые назначения он уже дал на прощанье Тураджану. Камила проказница, запропастилась куда-то.

...Чабану обычно спешить некуда: шагай себе потихоньку вслед за коровами, которые всю дорогу щиплют траву. И Гыяс не погоняет своего вислоухого — то ли потому, что за долгие годы привык не торопиться, то ли слишком углубился в раздумья. Серый ишачок трусит неспешно, спина у него прогнулась — как будто тяжелые раздумья хозяина повисли грузной ношей на луке седла. «Горько тебе не вестать!» — время от времени бурчит Гыяс-ака, неизвестно к кому обращаясь, пятками слегка ударяя ишача под ребра и мало-помалу приближается к кишлаку.

Гыяс — старший пастух, ответственный за колхозное стадо; Камила и Тураджан — подпаски, его помощники.



Человек он простой, даже немного наивный: порой скажет слово — сам не смеется, а все кругом прийти в себя от смеха не могут. «Чтоб тебе горя не ведать!» — это в его устах то благопожелание, то проклятье самое тяжелое, смотря по обстановке. Простосердечный человек, доверчивый — хотя ему уже без малого пятьдесят. Вот теперь его в военкомат вызывают вторично. В первый раз он как отправился в город, пеньковую торбу взвалив на спину, так и вернулся обратно. Признали негодным к военной службе. Причина в том, что смолоду и до нынешних лет Гыяс-ака болеет трахомой.

...Старик улыбнулся в усы, — должно быть, вспомнилось, как в прошлый раз приезжал он в военкомат.

Тогда был самый разгар зимы, всюду плотный белый-белый снег. На ветвях кустов, деревьев хлопьями повис серебряный иней. Погода ясная, и даже солнце как будто припекает, но на открытых местах прохватывает резкий морозный ветер. Без пощады щиплет, жжет уши, нос. Парни и мужчины в годах, призванные в армию, отправились из кишлака в город на большой, вместительной арбе с подножками.

Подъехали к просторному двору военкомата — громадные колеса арбы скрипели на смерзшемся снегу, точно городские лакированные ичиги. Въехали в ворота, остановились. Парни ловко спрыгнули наземь, последним спустился Гыяс, волоча свою туго набитую торбу. Оглянулся, отыскал дерево с краю, возле забора, прислонил к нему торбу, сам опустился на корточки. Чего только тут нет, на широком дворе, где грязный снег утопан сотнями ног! Народу — тьма, все громко говорят, перекликаются, руками машут. Неподалеку от ворот коновязи. Тут ишаки, лошади всех мастей — копытами снег разрывают. На дворе множество женщин, стариков и старух — пришли проводить своих близких или же собственными ушами выслушать решение комиссии. Иной горько плачет, повиснув на шее у сына или мужа, брата, иной, провожая уходящего, второпях что-то втолковывает ему на прощанье, иной принес немудреную домашнюю снедь и теперь угощает парней-призывников, не различая своих ли, чужих. А вон, чуть поодаль, заливадается на высоких тонах гармошка, русские парни и девушки что-то поют нестройным хором, в лихой пляске утаптывают снег... Высокий русский парень в сторонке прижимает к себе долго и страстно целует мо-

лоденькую женщину, светловолосую, миловидную, — на-  
верное, жену.

Из дверей военкомата то и дело выходит человек в во-  
енной форме, кого-то выкликает по именам и фамилиям.  
Его не слышно во всеобщем гвалте — тогда он кричит сно-  
ва, погромче. Вызванный отправляется следом за ним  
в здание.

— Абдураим, — обращается Гыяс-ака к односельчани-  
ну, что приехал вместе с ним. — Чего это он кричит?

— На комиссию вызывает, — парень взволнован, рас-  
хаживает взад-вперед, беспрестанно дымит махоркой.

— Нас не вызывал еще?

— Вызовет... — Абдураим на мгновение остановился,  
точно его разбудили, с удивлением глянул на Гыяса.

— Ты будь настороже, как бы нам не пропустить.

Парень так и не может понять, шутит Гыяс-ака или  
говорит всерьез. Странная вещь! Прислали повестку  
с указанием имени — как же теперь могут не вызвать?

...Гыяс-ака задумался и не заметил, как задремал. Про-  
снулся от толчка. Абдураим склонился к нему.

— Вставай! Вызвали.

— Кто? Куда?

— Куда же еще? Вон туда, где комиссия.

Схватив свой мешок и не глядя по сторонам, Гыяс-ака  
заспешил к двери, за которой только что скрылся воен-  
ный. Абдураим, посмеиваясь, глядел ему вслед.

Войдя в просторную комнату, где сидели и стояли лю-  
ди в военной форме и в белых халатах, в том числе  
несколько женщин, Гыяс прежде всего скинул на пол свой  
туго набитый мешок — он гулко стукнулся об пол, все  
обернулись с удивлением, потом заулыбались. Гыяс-ака  
огляделся: прямо перед ним за столом — военный в очках,  
а над очками розовая кожа черепа, волос нет. Белый халат  
небрежно накинут, на столе — бумаги, бумаги... И он что-  
то в них торопливо черкает. По правую руку от него —  
парни-призывники, человек пятнадцать, да все голые,  
в чем мать родила! Стоят в очереди к женщине-врачу  
в белом халате и шапочке. «Гляди-ка! — Гыяс от стыда  
и смущения покраснел, будто свекла. — Перед женщиной  
и мне, значит, раздеваться? Неужто?!»

...Гыяс-ака вовсе не замечал, что в комнате на него все  
смотрят с улыбкой, а иные с трудом сдерживают смех,  
разглядывая его неуклюжую одежду и громоздкий мешок,

прислоненный к стене. Военный строго, удивленно глянул сквозь очки на Гыяса, на его мешок, спросил по-русски:

— Это что такое?

Гыяс-ака в растерянности посмотрел на одного, другого.

Одна из сестер, татарка, сообразила: этот чудной человек из кишлака, по-русски не понимает.

— Он спрашивает,— пояснила она,— что у тебя в мешке?

Гыяс поглядел на свой мешок. Когда услышали, что его призывают на войну, супруга, тетушка Шарифа, весь день перед отъездом мужа пекла дома лепешки. Ведь Гыяс был уверен, что едва приедет в город — его на поезд — и до свиданья. А какая-то комиссия — этого ему и во сне привидеться не могло бы...

— Хлеб,— ответил он, глядя прямо в очки строгому военному.

Все вокруг дружно расхохотались. Сдержался только военный в очках.

— Ох, артист! — проговорил он, подавляя улыбку. — Ну, ладно. Давай военный билет.

Гыяс снова обернулся к сестре-татарке.

— Военный билет давай, говорит.

Гыяс-ака нагнулся, из-за правого голенища вытянул пакет — несколько слоев бумаги, а внутри военный билет, колхозная трудовая книжка. Развернул, билет отдал военному. Тот глянул: что такое? Верхняя обложка, два-три листка... Где же вторая половина?

— Это что? — строго посмотрел он сквозь очки на Гыяса. Тот снова обернулся к сестре.

— Что это, он спрашивает,— с улыбкой пояснила та. И ее улыбка придала Гыясу смелости. Он решил отвечать сам.

— Белат,— проговорил он уверенно.

— Ясно, что билет,— не дожидаясь вопроса, опять вступила в разговор сестра. — А где вторая половина?

— А, половина? — Гыяс-ака без робости глянул военному прямо в очки. Видно, ему больше не хотелось, чтобы сестра отвечала за него. Он решил отвечать сам, хотя по-русски мог с трудом выговорить лишь несколько слов: — Я его... сундук палажит. Верно? Там... ему палавын мышгырызат... верно?

— Что, что? — военный даже приподнялся, теперь и он не мог больше сдерживать улыбку. А Гыяс-ака, ободренный тем, что его поняли, с жаром принялся уточнять:

— Товарш начальник, мыш гырызат, понымайш? Палавын астайт, панымайш?

— Ладно. Все ясно, — военный опять посерьезнел. Он мельком глянул на окружающих — те мгновенно оборвали смех, иные ладонью прикрыли рот, другие отвернулись, — видно было, как от смеха вздрагивают плечи. Очкастый повертел в руках военный билет Гыяса, — оказалось, и на первой сохранившейся странице почти ничего невозможно было разобрать. Он посмотрел на Гыяса, который молча переминался с ноги на ногу, и спросил коротко:

— Фамилия?

— Отца как звали? — тотчас вмешалась сестра.

— Мамасали.

— Твое имя?

— Гыяс...

— Год рождения? — опять спросил военный, сестра перевела.

Тут Гыяс-ака смутился окончательно. Сестра повторила вопрос.

— Я, значит, Абдугани — ровесник, — обратился к ней Гыяс-ака. — Ну, знаешь того Абдугани, что из Кариза...

Абдугани из Кариза?! Откуда ей знать Абдугани из Кариза?! Попыталась было объяснить очкастому, о чем он толкует, но тот лишь устало махнул рукой: на медосмотр. В общем, признали в тот раз Гыяса негодным к военной службе, но предупредили: возможно, вызовут еще раз. Так и вернулся Гыяс-ака в родной кишлак, торбу свою даже не развязав. И вместе с ней привез прозвище, которое прилепили ему кишлачные остряки, проведавшие обо всем, что случилось на комиссии. Стали называть Гыяса-ака Панымайш-ака.

Сейчас он вспоминал обо всем этом — и сердце сжималось от недоброго предчувствия. «В тот раз обошлось, а уж теперь-то, наверное, заберут...»

Сколько он себя помнил, с самого детства ходил за стадом. Как будто и родился только для того, чтобы стать чабаном на всю жизнь. Односельчане теперь уже просто не могли себе представить стада без Гыяса или его самого — отдельно от стада за каким-либо другим занятием.

Он сам, да и все окружающие были уверены: ни для какого иного дела он попросту не годится. А для него и нет во всем кишлаке более важной работы, чем чабанская. Верно: без скота дехканам не прожить. Особенно в такое время, как нынешнее! Что поддерживает человека теперь, в военные годы, когда во всем не достача, еды не хватает? Конечно же, молоко, свежее и кислое! Без молока, масла, куртажить тяжело, ох как тяжело!.. Именно об этом размышлял Гыяс-ака, когда в разговоре с председателем у него вырвалось: «Что-же дальше-то будет?» Да, что же будет? Управятся ли со скотиной Тураджан и Камила? Сумеют, нет ли вполне заменить его, Гыяса?

Да, на этот раз его заберут непременно. Чем он хуже других? Только вот глаза немного подвели. А сил хватает, не меньше, чем у иного джигита... Верно, попросить надо, чтобы Камиле с Тураджаном дали в подмогу еще одного человека. Но кого? Все трудоспособные на поле. Рабочей силы в колхозе нехватка. «Погоди... погоди... — думает Гыяс. — А ребятишки вот эти, которых из-за войны в кишлак привезли... Не вышли б из них помощники чабанам? Вон, сын того старика... Эх, как бишь его зовут, горя б ему не ведать... А, Серги! Парнишка с виду крепкий, да и проворный, смысленый...»

Эта простая мысль так обрадовала Гыяса, будто он слиток золота нашел. Сам не заметил, как приблизился к дому. Серый ишачок, не понукаемый хозяином, направился привычным путем к садовой калитке. А она узкая, низенькая. Ишак втиснулся в нее, не сбавив скорости, Гыяс-ака, чтобы не расшибить себе лоб, откинулся назад — и вылетел из седла. Хорошо, земля мягкая, копытами взрыхленная, да и на самом ватный стеганный халат. Не то бы... Как говорится: с ишака упасть — хуже, чем с коня. Что-нибудь неладное случится, верная примета!

Одна нога у Гыяса застряла в стремях. Ишак, постояв немного в задумчивости, двинулся дальше — к стойлу, где его всегда ожидал корм, и поволок хозяина по земле. С трудом Гыяс-ака высвободил ногу, поднялся, ворча: «Э, чтоб тебе!..» Ладонями принялся выбивать пыль из халата. В это время, привлеченная непривычным шумом, выбежала тетушка Шарифа, всплеснула руками.

— Вай, горемычный, да что это с вами?

— Что, что... Ничего такого... Опять вызывают меня.

Шарифа так и обмерла, где стояла, только скорбным взглядом проводила мужа. А Гыяс-ака размышлял в этот момент лишь об одном: как бы скорее раису высказать то, что он надумал насчет помощника подпаскам.

На Камилу Тураджан даже мельком глянуть не осмеливался, а в сердце не унималось волнение, и мысли, сколько он ни силился, никак не мог привести в порядок. И ответа на свой вопрос отыскать не умел. Как же это? Они родились в одном кишлаке, вместе учились в школе, в одном классе, дружили, всегда вместе играли... И вот — один только миг, случай теперь разрушают эту дружбу, которая, казалось, дороже золота?!

Так неожиданно все привычное — в клочья... Страшная тоска на душе.

Он украдкой глянул в ее сторону. Камила, одетая как обычно в грубую телогрейку, в задумчивости брела позади стада. На какой-то миг у Тураджана потеплело на сердце: все как прежде. И все же... Того, что было, больше нет и не будет! И он уже не отважился бросить на Камилу еще один взгляд, хотя бы тайком...

Так он и брел следом за стадом, не замечая ничего вокруг, погруженный в раздумья, ощущая в душе то горечь, то острую тоску, не в силах собрать и привести в порядок мысли, не зная, как быть дальше. Очнулся, когда уже приблизились к самому кишлаку.

Обычно возле околицы коровы прибавляют шаг. И пыль, которую стадо вздымает за собой, тут расплывается густою тучей, так что в ней человек человека не может разглядеть. Каждый день Камила с Тураджаном бодро идут вслед за стадом, громко разговаривают, шутят, весело смеются, а сегодня их не слышно. Едва стадо показалось на улице, встретила ватага ребятишек. Пришли встречать коров, ищут своих, шумят, визжат, пыль подняли еще больше. Наконец разобрались, каждый погнал свою скотину к дому.

Стадо еще не все разошлось, когда подошли к зданию сельсовета. И вдруг впереди какое-то смятение. Доносится шум голосов, чей-то громкий плач. Вроде один убегает, другие за ним гонятся, ругают его... Ничего не разобрать издали, среди густой пыли. Наконец приблизились. Теперь Тураджан разглядел, что происходит. Оказывается, убегает с плачем мальчишка-поляк Франтишек, из беженцев, тех, кого в кишлаке поселили из-за войны. За мальчи-

ком с воплями и проклятиями гоняется Зулайха, родственница Гыяса. Тут же целая ватага кишлачных мальчишек — одни вроде бы помогают Зулайхе поймать Франтишека, другие бегают и галдят просто ради забавы. Стадо приблизилось — и Франтишек в отчаянии, видя, что ему не спастись, кинулся к коровам, забился в самую середину. Но и Зулайха не отстаёт — в руках палка, так и рвется следом за мальчиком, ее помощники тоже стараются... Бедняга чувствует: не убежать. В последнюю минуту увидел Тураджана — и к нему со всех ног. Парень ни о чем не успел подумать — инстинктивно заслонил мальчика от Зулайхи, прижал к себе. То ли мгновенную жалость к нему ощутил, то ли негодование к преследователям — столько народу против одного... Худенький мальчуган, прижимаясь к его телогрейке, дрожал всем туловищем, округлившиеся сверкающие глаза, от страха готовые выскочить из орбит, с надеждой впились парню в лицо.

— Вы чего? — Тураджан, придерживая мальчика, ступил навстречу Зулайхе. — За что бьете? Что он вам сделал?

— Что бы ни сделал, тебя не касается! Прочь отсюда, не то плохо будет!..

— Объясните, наконец, в чем дело?!

— Прочь, тебе говорят!..

— Да он сюзюму<sup>1</sup> сташил, — будто невзначай бросил чернявенький мальчуган. И верно, у Зулайхи, в руках мешочек, в каком отцеживают сюзюму. Похоже, он повалился на земле — одна сторона в глине, сюзюма сочится из отверстия, мешается с грязью... В это время подошли кое-кто из взрослых, и Зулайха принялась кричать на всю улицу:

— Житья нам не стало от этих проклятых! Мало тут своих оборванцев... — это она поносила эвакуированных, односельчан подстрекала против них.

Видимо, и в самом деле Франтишек был виноват. Почему же Тураджан, не колеблясь, защитил его? Разве воровство не грех? Почему он пожалел маленького воришку? Не раздумывая над этим, Тураджан по-прежнему не отпускал от себя мальчика, прикрывая его от разъяренной Зулайхи. В чем же дело? Пожалел ли он изгнанника, бездомного? Или жалость у него в сердце пробудила

---

<sup>1</sup> Творог.

беззащитность этого щуплого мальчишки — одного среди чужих? Так или иначе, сострадание руководило поступками парня. Сам он этого, правда, не осознавал вполне. Только, уже минуту спустя, мелькнула мысль: да разве этот несчастный сам пришел к ним в кишлак? Если б не война — что ему делать в здешних краях? Ведь он просто голодный. Нужно ему хоть чем-нибудь голод утолить!

Эти мысли постепенно прояснялись в сознании Тураджана, но высказать их он не мог — дрожал от волнения или от гнева и все прижимал к себе Франтишека, тоже не издавшего ни звука. Зулайху Тураджан все-таки не решился оскорбить недобрым словом: ведь недели не сравнялось, как она получила «черную вест» о своем муже... В тоске, в отчаянье женщина себе места не находила, только и выискивала, кого бы очернить, обругать, на ком выместить злобу. Сюзьма — всего лишь предлог. Вообще-то она вовсе не была склонной приходить в ярость по пустякам.

Встретив неожиданное сопротивление, Зулайха сперва опешила, потом снова ринулась с палкой на Франтишека, пытаясь обойти Тураджана слева. Парень преградил ей дорогу.

— Чтoб тебе умереть молодым! — осознав свое бессилие, завопила Зулайха, кулаками размазывая слезы по щекам. — Так ты немца этого защищаешь от меня, от меня!..

— Тетушка, это не немец.

Вот, оказывается, что: Зулайха считает немцами семейство несчастных беженцев-поляков! Не помня себя, она подняла палку, намереваясь швырнуть во Франтишека... В этот самый миг из домика правления колхоза вышли председатель, Гыяс-ака, еще трое-четверо мужчин; они, услышав шум, спешили выяснить, что тут происходит. Тураджан глянул на них, забыв на мгновение про опасность, — и палка Зулайхи с треском обрушилась ему между лопаток... Тут же, невесть откуда, между ним и Зулайхой появилась Камила.

— Тетушка! — в ее резком вскрике звучали горечь и стыд.

— Прочь, негодница!..

— Тетушка...

— А, и ты тоже его защищать?! Чтoб ты подохла! Вот, значит, ради чего ты вместе с ним ходишь за стадом?! Снюхались уже небось, да?..

— Тетушка,— в последний раз попыталась Камила урезонить ее. Но вдруг слезы брызнули из глаз, девушка резко повернулась и побежала прочь.

Последние слова Зулайхи многим запали в сознание, одних удивили, других возмутили.

Франтишек, по-прежнему сотрясаемый крупной дрожью, стоял съежившись за спиной Тураджана. Зулайха продолжала выкрикивать проклятья.

— Невестка,— внезапно подошел к ней вплотную раис-бобо.— Что это ты? Нехорошо! Мы знаем, тяжело тебе. Муж погиб... Всему кишлаку горе, поверь! Что поделаешь, война...— Он говорил негромко, медленно, веско. Ему внезапно вспомнилась «черная весть», пришедшая на его сына Каримджана, комок подступил к горлу... Подавив горестный вздох, председатель опять заговорил: — Разве в кишлаке тебе одной пришло скорбное известие? А ты, невестка, вымещаешь вину на тех, кто неповинен. Ведь этот мальчик — поляк. Несчастные, они тоже из-за войны лишились домов, в чужих краях скитаются... Ребенок — он и есть ребенок, да еще и голодный. Что же тут шуму-то столько поднимать?

Зулайха ничего не ответила. Похоже, силы оставили ее, отшвырнув прочь палку, она заплакала в голос, навзрыд и, не утирая слез, побрела к своему дому.

Гыяс-ака лишь сокрушенно покачал головой, пробормотал: «Э, невестушка, горя б тебе не знать!» — рукавом смахнул слезу. Должно быть, пожалел сноху. Вспомнилось ему, как совсем недавно пришла похоронная на его младшего брата — мужа Зулайхи. Раис-бобо еще немного постоял и пошел назад, в правление. Плечи у него горбились, весь облик выражал смятение и подавленность. Гыяс-ака направился следом за ним...

Ведя Франтишека за руку, Тураджан в окружении ребятишек зашагал к себе домой. Мальчик — худенький, истощенный — не переставая дрожал всем телом, едва переступал слабыми ножками, заискивающе поглядывал по сторонам и, должно быть, не знал, как выразить благодарность своему избавителю. Минуту спустя навстречу показался запыхавшийся отец Франтишека,— видать, кто-то сообщил ему о происшествии с сыном. Пожилой, высокий, тощий, он сейчас взволнованно тискал в руках выцветшую

шляпу; похоже, он не знал, что следует говорить, как вести себя. Морщинистое лицо, обрамленное русой, с сединой, бородкой, было бело, точно бумага. Подбежав, он пристально глянул на сына, что-то на родном языке проговорил вполголоса, причем лицо сделалось холодным и строгим. Мальчик что-то ответил.

— Шалены <sup>1</sup>! — вскричал старик и ладонью наотмашь ударил мальчика по лицу. Тот снова прижался к Тураджану. Старик, видимо, начал понимать, что произошло, — обернулся к парню и церемонно поклонился, нагнув плечивую голову. Что-то заговорил часто-часто, должно быть, благодарил за сына. Тураджан тихонько подтолкнул мальчика к отцу. Поляк, продолжая кланяться и бормотать, взял сына за плечо и повел прочь.

Тураджан ввязался в скандал и не заметил, что стадо уже разбрелось. Озираясь вокруг, стоя на месте, он попытался привести в порядок мысли. В висках стучало, он только теперь начал вспоминать все происшедшее. «Снюхались!» — внезапно всплыло в памяти грязное словечко Зулайхи. Ведь это... ведь это она Камиле бросила, когда та внезапно появилась и принялась было унимать разбушевавшуюся тетку!

Как же он до сих пор не обратил внимание на это? В ушах у него по-прежнему звенело, точно долбили череп. «Бедная! — подумал он о девушке. — Такое услышать!.. Что же это с тетей Зулайхой, так накинулась на нее? За то, что меня защищала? Верно, защищала ведь... Почему? Пожалела?»

Раздумывая об этом, Тураджан не спеша брел к дому. «Почему Камила защищала меня? — неотступно билось в сознании. — Пожалела?» Нигде не останавливаясь, шагал он, нахмуренный, разозленный, не зная, за что приняться. Каждый день в эту пору Тураджан и Камила обычно уже ставили своих коров в стойла, кидали им сена, затем поливали каждый у себя во дворе и выходили на улицу поиграть немного. Ничего этого делать сегодня не хотелось. В голове сумятица... Тураджан подошел к топчану посреди двора, повалился на него бессильно. Мать, конечно, сразу это заметила, но подумала: утомился парень. Не стала беспокоить.

---

<sup>1</sup> Сумасшедший (польск.).

Прошло с четверть часа, и во двор явилась соседка Хадича. Издавна говорится: «Женщина в адский огонь угодит — и то тридцать слов произнести успеет». Это о таких, как Хадича, ее в кишлаке прозвали тетушкой-Информбюро. «Вай, соседушка, миленькая...» — с этого как начнет, так и пробежит весь кишлак из конца в конец, не помня, зачем из дому-то вышла.

— Вай, соседушка, миленькая! — завела, как обычно, разговор Хадича, едва только войдя в калитку. Тураджан всегда недолюбливал ее. И сейчас резко повернулся к ней спиной. А она, ничего не замечая, пошла частить:

— Все война проклятая, так-то, соседушка! Подумать только, уже и Гыясу повестка пришла.

«Гыясу повестка?! — у Тураджана сердце замерло. — Значит, он уедет? А как же стадо?» Об этом он подумал совсем не так, как сам Гыяс-ака, когда узнал, что его, возможно, заберут. Нет, Тураджана вовсе не прельщала мысль о том, что заботы о колхозной скотине теперь, видимо, полностью лягут ему на плечи. Наоборот — он давно уже замыслил каким угодно способом избавиться от работы чабана и подыскать себе дело посерьезнее. Какой может быть рост, какое развитие для чабана? Ни славы, ни просто уважения на этой работе не заслужишь, нет... Он и пошел на нее против своей охоты, только после того как комсомольцы на собрании постановили: «Тураджан и Камила должны поступить в подпаски к Гыясу. Это комсомольский долг. Нет работы важной или неважной — любая важна! А сейчас это значит — служить Родине». Верно. Да разве нет в колхозе другой работы? Вон сколько дела: и окучка хлопка, и культивация, и прополка, и на арбе ездить, и трактористам помогать. Скоро начнется жатва хлебов. Тут и комбайн водить и на хирмане<sup>1</sup> управляться надо...

Эти мысли уже давно не оставляли Тураджана, но лишь сегодня он, кажется, готов был принять твердое решение.

Пока Тураджан собирался с мыслями, тетушка Хадича продолжала тараторить без умолку:

— Да ведь я говорю, милая соседушка, не одного, значит, Гыяса... Вот и Абдусамата-тракториста, да еще того...

---

<sup>1</sup> Ток, место приема урожая.

Нусрата с фермы, да еще у Карима-маслобойщика сына старшего...

— Вай, умереть мне... это Фатимы сынка?

— Да, соседushка, да, желанная...

— Так разве у него подошли годы? — Салима, будто ее ударили, так и села на пустой тандыр<sup>1</sup>. Как же это? Ведь сын маслобойщика — почти ровесник ее Тураджану, всего, может, на год или на полтора постарше... У несчастной женщины, уже разлученной с мужем, все внутри затрепетало: значит, и с сыном разлуки не миновать... Междутем тетушка Хадича, ничего не замечая, говорила и говорила без остановки:

— Вот, соседushка, а это слыхала? Тот, значит, мальчуган поляк, Прантишка его зовут... Так он, чтоб ему на свет не родиться, стянул у Зулайхи сюзюму, что вывесила она в мешке отжимать. А она-то заметила — и давай на него кричать! Вай! И не повторить, чего наговорила. Что поделаешь, несчастная она... «Черная весть» на мужа пришла, тут, и верно, любой места себе не найдет. Да гляди, что дальше: она, значит, бить этого Прантишку, а ей сынок наш да Камила — поперек дороги. Не дали бить. Соседushка-а, что она тут накричала-а!.. Кому ложь, а мне — правда. Ты, говорит, знаю, зачем с Тураджаном вместе стадо пасешь... Женить его на себе хочешь! Вон что говорит... Милая соседushка, ведь верно сынок-то ваш... тюф-тюф, не сглазить бы... вон какой парень сделался статный да пригожий!

И Хадича кокетливо, с намеком рассмеялась. Тураджан не выдержал, не мог больше слушать эту болтовню — тихонько поднялся и вышел на улицу. Уже совсем стемнело, но вокруг ни души — ребята и девушки в эту пору еще не сходятся. Пройдет полчаса — и высыпают все на улицу, а разойдутся по домам, когда матери позовут.

«Гыяс-ака уйдет в армию, что же здесь будет?» — эта мысль не давала покоя. Да и все происшедшее в этот сумбурный день теснилось в сознании, раздражало, сбивало с толку. Что предпринять, куда направиться?

Внезапно он заметил в темноте: Камила стоит возле своей калитки... Точно воришка, пойманный за руку на месте преступления, он крадучись повернул назад, к своему дому...

---

<sup>1</sup> Очаг, земляная печь.

Темнота, тишина вокруг. Верно, потому, что все разошлись по домам. Все смолкло, если не считать стрекота невидимых кузнечиков да еще собачьего лая, временами доносящегося откуда-то издалека. Когда Тураджан, погруженный в раздумья, не спеша брел к своему дому, внезапно скрипнула уличная калитка, кто-то, видимо, вышел от них. Приглядевшись, он узнал: это Байзак-чолак<sup>1</sup>, недавно вернувшийся с фронта, уволенный по ранению. Постукивает палочкой. «Зачем он наведался к нам?» — мелькнуло в мыслях.

— Э, дружок, куда ходил? — окликнул, приблизившись, Байзак. Он, как обычно, говорил на своем родном языке — казахском, который в здешних местах все понимали. — Давай-ка живо в правление, председатель вызывает.

— Зачем?

— Придешь — узнаешь. Ну, марш!

Пожав плечами, Тураджан двинулся за ним следом. «А вдруг... и мне повестка? Вот бы здорово!..»

Размышляя об этом, он и не заметил, как подошел к правлению. Внутри при свете керосиновой лампы виднелись тени нескольких человек. Зачем все-таки вызвал раис?

— Входи! — Байзак, сильно хромая, первым прошел в дверь. Тураджан, смущенный, проследовал за ним, уже на пороге стянул ушанку, да тут и встал навытяжку. Точно перед директором школы...

Люди в комнате, видимо, были заняты обсуждением весьма важного дела, поэтому вначале не обратили на пришедших никакого внимания.

Людей здесь оказалось немного, как и можно было догадаться, глянув в окно. И все смотрели на председателя, ждали от него каких-то решающих слов. Тусклый свет десятилинейной лампы — разбитое стекло бумажкой заклеено — едва освещал лица сидящих, сизый махорочный дым клубами уплывал к темному потолку. Когда глаза немного привыкли, Тураджан на длинной скамье возле стены разглядел сидящих бок о бок Гыяса, завфермой Нусрата, Абдусамата-тракториста и еще Разыка, сына Карима-маслобойщика. Все какие-то озабоченные, напряженные, а у то-

<sup>1</sup> Хромой.

щего, с длинной шеей, Разыка узкие глаза так и горят, искры мечут... Во всем облике парня проступает гордость: пот, меня призвали, считайте, что я — фронтовик!

«Выходит, правду сказала тетка Информбюро, — тотчас подумал Тураджан. — Но неужели и Гыяса призвали? Разыку, значит, повестка, а мне — нет?! Как же так?»

И Тураджан ощутил в сердце горькую обиду. Призывают Разыка, а его — нет... И разница-то в возрасте всего, может, год или два. А вдруг его, Тураджана, и вызвали сюда за тем же. «Вот если б и вправду так! Тогда, значит, не придется мне больше за стадом бродить да пыль глотать... А уж если не заберут на фронт, неужели не подберут мне другого занятия? Самое время сейчас перед всеми об этом и сказать! Скажу, будь что будет!..»

Пока он собирался с духом, председатель заметил его: — А, Абдутура явился! Ну, садись!

И он обернулся в сторону главного бухгалтера, стал что-то ему говорить. Что именно, Тураджан расслышать не мог. В голове гудело, мысли мешались. Снова раис глянул на него, жестом велел сесть возле Разыка. Освоившись, немного придя в себя, парень стал, хотя и с трудом, улавливать обрывки фраз: чекапка, хлопок-сырец, вода, клевер... жатна, окучка...

— Кладовщику выпиши наряд. — Председатель заговорил громче: — Тем, кто уходит в армию, выдать зерна, еще чего там... Сколько дадим зерна?

— Если по десять кило... хватит, наверно...

— По пять! — отрезал раис-бобо. — Достаточно. Сейчас нужно горячую пищу тем, кто в поле... Да еще семьи эвакуированных... Что скажете?

Никто не произнес ни слова.

— Тогда так и решим. Да, Байзак, что с помещением для эвакуированных?

— Все в порядке, аксакал.

— Где разместим?

— Одну семью в доме Гыяса. Еще одну — в старой кибитке Махамбая-мастера... Другим тоже подыщем. Приезжают они послезавтра, еще есть время.

Теперь председатель обернулся к Тураджану.

— Так, значит, сынок, Гыяс-ака уходит в армию. Со стадом теперь управляться вам одним. — «Вот, я так и знал!» — тотчас пронеслось в сознании Тураджана. Он потупился. Начал уже подбирать слова, но так и не

решился ответить. Председатель помолчал, видимо, ожидая возражений, но, не дождавшись, опять заговорил: — Вдвоем будет тяжело, и мы решили подобрать вам еще двоих-троих ребят...

— Трудно придется теперь, это верно, — подтвердил Гыяс-ака. — И если не найдем помощников...

— Кого наметим? — Председатель оглядел сидящих.

«Сейчас сказать самое время», — решил про себя Гыяс-ака, но от волнения не мог произнести ни слова, только гладил усы.

— Ну, говори, — подбодрил его председатель.

— Вон... мальчик-поляк, Прантишка зовут... Как думать, ежели с его отцом потолковать?

Собственно, Гыяс-ака, еще когда ходил со стадом, заметил в подпаски другого мальчика из эвакуированных — Сергея, сына пожилого украинца Опанасенко. И сам обрадовался своей наметке. Но сразу не поспешил сказать раису, а вот теперь вспомнилось происшествие с Франтишкой — старик тут его и назвал. Была, впрочем, и еще причина, почему Гыяс-ака вспомнил этого мальчика, а не Сергея, однако никто не догадался, кроме председателя.

Люди молчали — всем пришло на память то, что разыгралось каких-нибудь два часа назад между маленьким поляком и Зулайхой.

Первым подал голос Байзак-чолак.

— Замешателна! — со старанием выговорил он русское слово, хитровато усмехнулся. — Очень хорошая мысль! Недоставало, чтобы Гыяс-ака ее и высказал по-русски... как в военкомате зимой.

Все дружно расхохотались, не мог сдержать смеха и Гыяс-ака, махнул рукой:

— Э, чтоб тебе горя не ведать, все-то он с шуткой... Да, уж по-русски я тебя не превзойду, где там!..

Раис, позволивший себе лишь улыбнуться, когда все умолкли, заговорил тихо, раздельно:

— В словах Гыяса истина. Сколько у нас эвакуированных? Одна семья поляков, три — русских, две — украинских. И во всех семьях дети. А ведь даже курице нужно, как говорится, и зернышко, и воды глоток... Для нас-то они все равны, русские ли, поляки. Наша задача — пристроить на работу, для начала на ту, что полегче. Иначе им трудно придется, зимой в особенности. Эвакуированных распределили и по другим колхозам. Нужно выяс-

нить, как их там приспособили к делу. Уж, наверное, не сидят сложа руки!

— Верно, вот как верно! — тотчас горячо поддержал председателя Гыяс-ака. Он понял: тому Прантишке... тринадцать, не то все четырнадцать. Пусть хоть немного поможет Камиле с Тураджаном, с ними заодно поработает. Еще если б и отца его поставить сторожем...

— Да он мастер, — вмешался Разык.

— Мастер? По какому ремеслу?

— Уж по такому... Лампы починяет.

— Откуда знаешь?

— Не только знаю, сам видал. — Разык еще больше вытянул шею, и без того тонкую и длинную. — Из пустых бутылок мастерит стекла для ламп. За каждое берет полкило пшеницы... Моя мама заказала ему одно. Хорошее стекло.

— Вот здорово!

— А тот старик... Апанас... он сапожничать умеет, — вставил еще кто-то.

— Очень хорошо! — оживился председатель. — Пускай у нас чинит хомуты, уздечки, подпруги. Дело займется и на хлеб заработает... В общем, нужно нам как следует обо всем этом подумать. Этих людей нам ведь государство доверило. Значит, нам и соображать, как их прокормить, как обеспечить всем необходимым для жизни.

Люди слушали молча. Мысли каждого — об одном и том же. Время тяжелое, ответственное: жатва на носу. Запасов никаких.

Видя, что никто не собирается выступать, раис-бобо поднялся с места, заговорил, словно подводя итог:

— Решено! Будем искать выход. А ты, Абдутура, значит, с завтрашнего дня бери себе в помощники этого... Прантишку.

Тураджан, так и не решившийся высказаться, молча глядел себе под ноги. Председатель по-своему истолковала замешательство парня.

— Думаешь, как уговорить этого Прантишку? Ну, вот что... — Он разгладил седые усы, на мгновение задумался, потом произнес, обращаясь ко всем: — Можете идти. Останься только ты, Тураджан, и еще Байзак...

Заговорив все разом, люди вышли.

— Такое дело, — председатель жестом велел оставшимся приблизиться. — Давайте обойдем эвакуированных, со-

общим наше решение, потолкуем с людьми. Ты поговоришь, Байзак, ты-то мастер по-русски объясняться...

Задув огонь в лампе, все трое вышли на улицу. Ночь темным-темна. Впереди раис-бобо и Тураджан, а за ними Байзак-чолак глухо палкой постукивает. Байзак — сын чабана, прославленного в кишлаке и за его пределами. До войны Байзак чабанил вместе с отцом. А когда вернулся после фронта, его определили секретарем правления колхоза. Человек веселого нрава, мастер пошутить. На военной службе он выучился по-русски, да еще привык русские словечки то и дело вклинивать в родную речь. Только произносит не очень верно, чаще на казахский лад: где нужно «ч» выговаривает «ш», где «ш» — там «с». Получается забавно — будто он шутит, не переставая. Но даже так, как он, говорить по-русски — очень важно здесь, в глухом кишлаке, вдали от города. Вот и сейчас председателю очень пригодятся познания шутника Байзака.

— С поляков начнем? — обернулся раис-бобо к своим спутникам, когда приблизились к старой бане, одиноко темнеющей в стороне от садов за дувалами.

— Все равно, — по-русски отозвался Байзак.

— Уже разгон берешь, по-русски чешешь, чертова головушка? — с улыбкой проговорил председатель, и Байзак весело прищелкнул в ответ. — Ну, начинай. Где тут у них вход?

Байзак прошел вперед, где-то в темном углу нащупал дверь и легонько постучал в нее своею палочкой. «Ишь, голова! — про себя подивился раис-бобо. — Стучит! Повидал, как живут урусы... Мы-то к чужим ли, к своим попросту входим».

Подождав немного, Байзак постучал во второй раз. Только теперь в ответ прозвучал невнятный голос:

— Кто?

— Пан Дворжек, это мы! — отозвался Байзак.

Изнутри донеслось какое-то бормотание, потом вмешался женский голос. Разобрать, что говорят, было невозможно. Минуту спустя дверь приотворилась, кто-то выглянул наружу.

— Пан Дворжек, это же мы, откройте...

В кишлаке знали фамилию этого пожилого поляка. Слышали, что у поляков принято обращаться друг к другу «пан». Хотя Дворжек меньше всего походил на пана — хилый, тощий, сгорбленный, одет в старье. Из всей его

семьи знали по сути одного только Франтишека, — остальные почти не показывались в кишлаке... Пан Дворжек узнал пришедших — отступил внутрь. На нем поношенная рубаха — цвета не разобрать, на сутулых плечах тесная безрукавка из черного собачьего меха, лоснящаяся в лучах крохотной лампы, что светит откуда-то из глубины каморки.

— Прошэн, пане, прошэн... — несколько раз проговорил Дворжек срывающимся голосом, при этом шаг за шагом пятился внутрь, сгибался в поклоне. Было видно: его встревожило и напугало появление неожиданных гостей в поздний час. Неужели из-за того, что произошло с Франтишеком?! Старый поляк пристально вглядывался в лица пришедших и скоро понял: ему ничто не грозит. От сердца отлегло.

— Как поживаем? — приветливо ощерился Байзак-чолак.

Слабая улыбка согрела бесцветное, обрамленное русою бородкой лицо пана Дворжека.

— Пасибо... — он теперь выглядел смущенным, растерянным. Наконец овладев собой, он еще раз поклонился, уже с достоинством, произнес тоном радушного хозяина: — Прошэн, панове!

Трое пришедших смело прошли в комнату. Тотчас в ноздри ударил диковинный неприятный запах. «В такое теплое время сидят запершись в доме!..» — мелькнуло в мыслях у ракса.

Посредине прямо на земляном полу стояла семилинейная лампа. Ее слабый свет не достигал углов, в одном из которых с трудом можно было различить закопченный котелок, стоящий на керосинке. В котелке что-то булькало, по всей каморке распространялся пар; студа же, наверное, шел и странный, отталкивающий запах. Раис-бобо, освоившись, разглядел все семейство Дворжека. В углу напротив двери прямо на полу, на соломе, сидела старуха, по виду лет семидесяти. Рядом с ней девушка... Красавица: брови луками изогнуты, волосы, спереди коротко подстриженные, узлом стянуты на затылке. Брови, волосы, глаза — все черным-черно... Глядит настороженно, словно степной джейран: вспугни — стрелой умчится прочь. Чуть поодаль женщина — стройная, царственной осанки, еще крепкая с виду, хотя с лицом болезненным. Судя по всему, хозяй-

ка — пани Дворжек. К ней жметя Франтишек, видно, что перепуган, да оно и понятно: уж он-то провинился.

«Им бы хоть грубый палас,— проносится в сознании председателя.— Пола нет, земля сырая, каково лежать на одной соломе? А домашних вещей, значит, почти никаких...»

В самом деле, что в этом убогом жилище представляло хоть какую-нибудь ценность? Закопченный котелок, эмалированная, расписанная цветами, глубокая миска там же, в углу, семилинейная лампа посреди каморки, да еще в нише пара чемоданов. Ничего, бедные, не смогли вывезти. Да и стоит ли жалеть? Целый мир охвачен смятением, ладно, что хоть сами-то спаслись. Ох, никому бы не испытать подобной напасти!

...Оборвав тягостные раздумья, раис-бобо оглядел своих спутников — и насторожился. Байзак, точно беркут, почувшый добычу, впился загоревшимися узкими глазами в девушку, сидящую в углу возле старухи. Так бы и кинулся, схватил когтями!.. Бросил лукавый взгляд на девушку, на Тураджана, подмигнул: «Нормальна?» Все сразу поняв, раис-бобо громко откашлялся. Байзак вздрогнул, подобрался, искоса глянул на председателя. У того глаза округлились от ярости. Байзаку не хватило смелости поглядеть в них еще разок...

Между тем Дворжек откуда-то извлек скамью, наскоро сколоченную из досок и брусков, поставил возле оконца, опять поклонился гостям, приглашая садиться:

— Прощэн, панове!..

Все трое осторожно уселись в ряд. Хозяин стал представлять членов семьи:

— Матка,— кивнул он в угол, где, сгорбившись, сидела старуха. Потом указал на девушку: — Дочь, Кристина... А то пани Раила,— с полупоклоном обернулся он в сторону женщины. И добавил с подобострастной улыбкой: — Супруга. Малжашка...

«Марджашка<sup>1</sup>»,— про себя перевел Байзак. Остальные двое просто догадались, что это — жена, хозяйка.

Почему-то хозяин не представил сына. Мал еще, не стоит относиться всерьез. А может, не хотел напоминать о сегодняшнем инциденте.

Тут заговорил Байзак. Он давно уже заметил в одном

<sup>1</sup> От «марджа» (искажен. русск. Мария) — жаргонное словечко, означающее: жена, женщина.

из углов бутылки и теперь, указав на них хозяину, начал было:

— Пан Дворжек...— но сразу осекся. Тот, однако, сразу понял, о чем хотел спросить гость, улыбнулся, отрицательно покачав головой. Повертев бутылку в руках, Дворжек пояснил:

— Не пью я. Совсем не пью. Штекло это.— Потом кивнул на керосиновую семилинейку: — Лампа.

Раис-бобо и Тураджан с изумлением следили за ним, не понимая всего до конца.

Дворжек, должно быть, об этом догадался и сообразил, что на словах растолковать не сумеет. Подумав секунду, вытянул из кармана моток шпагата, распустил, обмотал шпагатом бутылку возле донышка, сделав два-три витка. Прошел в сени, оттуда вынес другую бутылку, с керосином. Кусочек ваты укрепил на прутик, окунул в керосин, провел по шпагату на пустой бутылке...

Теперь все трое, не отрывая глаз, следили — что же будет?

— Шпишки? — Дворжек огляделся по сторонам.

Байзак тотчас достал из кармана кусочек кремня, огниво, пеньковый фитиль, протянул поляку.

— Не,— отмахнулся тот. Поискал глазами, поднял с полу клочок бумаги, подошел к керосинке в углу, поджег. И сразу поднес огонь к намоченному керосином шпагату на бутылке. Шпагат вспыхнул по всей окружности, раздался слабый треск — и бутылочное донышко отвалилось, стукнулось оземь. Дворжек показал всем бутылку без донышка — оно было будто алмазом срезано. После этого Дворжек что-то достал из ниши,— оказалось, ламповую железную конфорку с фитилем, точно такого диаметра, как бутылка без донышка. Вставил в конфорку то, что осталось от бутылки. Зажег, и она ярко загорелась. «Ого! — про себя подивился Тураджан.— Выходит, Разык правду сказал. И верно говорят: голь на выдумки хитра».

— Вот, лампа...— Дворжек улыбался с гордостью.

— Это здорово! — восхитился раис-бобо.— А чем он занимался у себя дома? Спроси, Байзак.

Байзак спросил. У Дворжека улыбка сошла с лица, он горестно вздохнул:

— Тоже... штекло... Кракуве, город Кракув. Большой город, красивый. Жнайте? Потом немец... война...

Байзак не слышал о Кракове и только пожал плечами,

обернувшись к своим. Поляк, закусив губу, сокрушенно качал головой. Раис-бобо оглядел семилинейку, — она, правду сказать, была кривовата, но светила недурно. Спросил, не без помощи Байзака, сам ли он сделал ее.

Дворжек с готовностью закивал плешивою головой:

— А, да... Шам! Шам! — и для верности ткнул указательным пальцем себе в грудь.

— А не смог бы он, — снова заговорил председатель, — настоящих ламповых стекол наделать людям?

Дворжек с сожалением развел руками.

— Удоволствием, но... нет печь... инструмент... Кварц нет. Ну, пешка, пешок... — Чтобы пояснить, он наклонился, сделал вид, будто схватил горсть песка. Все поняли.

— Песок много. — Байзак махнул рукой туда, где простираются Кызылкумы.

— Не, — поляк покрутил головой. — Не такой... Шпетшалны пешок. Кварц.

— А это из чего делал? — Байзак кивнул на стекло, которое прежде было на лампе.

— Пробирка, штеклянны.

Внезапно пан Дворжек оживился, должно быть, понял, чего от него хотят эти люди. Не дожидаясь новых вопросов, сам заговорил, обращаясь уже не к Байзаку, а к председателю:

— Можно искать пробирка... Школа... там ешть много... негодны тоже ешть...

Раис-бобо вопросительно глянул на Байзака. Тот, подумав секунду, разъяснил. Верно, в кишлачной школе есть химический кабинет, а там и пробирки, и колбы, и всевозможные стеклянные трубочки. Найдутся, должно быть, и негодные. А это материал для ламповых стекол, которые пан Дворжек берется изготовлять!

— Правильно, в школе этого добра много — негодных пробирок, — тотчас подтвердил Тураджан. — Собрать только нужно.

Байзак перевел и его слова. Дворжек окончательно успокоился, закивал головой:

— Добже, добже! Жделаю...

Разговор принял благоприятный, дружественный оборот, и постепенно просветлели лица у безмолвных слушателей — старухи и девушки, сидящих в углу, у неподвижно застывшей возле окна женщины и Франтишека, жавшегося к матери. Все словно почувствовали облегчение. Между

тем Байзак, которому больше других пришлось говорить, время от времени украдкой поглядывал на девушку. Она, конечно, тотчас это приметилла и, таясь от окружающих, беспрестанно теребила юбку — короткую, каких в кишлаке не увидишь, стараясь прикрыть белые коленки... Это, наконец, заметил Тураджан — и тотчас кровь ударила ему в голову. Он резко отвернулся, будто его уличили в чем-то неприличном. Ведь их девушки так не одеваются, так не сидят... Ему вспомнилась Камила — такая, какой он застал ее сегодня днем, когда она купалась в арыке.

— Стекло принесет он, — Байзак показал на Тураджана.

— Добже, — кивнул поляк.

— Давай теперь насчет Прантишки, — подсказал раис-бобо. — Ведь за этим пришли.

Байзак принялся втолковывать Дворжеку предложение раиса. Но, то ли он не находил нужных слов, то ли старый поляк живо смекнул, в чем дело, и лишь прикидывался непонимающим, — договориться они никак не могли. Теперь у Дворжека на лице опять появился испуг, он разводил руками, оглядывался на жену, на мать, ладони у него тряслись.

— Ну, довольно! — заметив это, прервал Байзака председатель. — Не хочет, принуждать не станем. Пошли!

— Ладно! — по-русски завершил разговор Байзак. — Мы пошли. До свидания! — И вышел первым, за ним — Тураджан. Раис-бобо кивнул, поблагодарив хозяина за гостеприимство, тоже шагнул за дверь.

— Чертова голова, — заговорил председатель, когда они отошли немного. — Ну и плут! Как на девчонку-то смотрел? Что скажешь? Оправдываться будешь?

— Вай, аксакал! — тотчас отозвался Байзак, словно выражая раскаяние. — Да я вовсе не на девушку засмотрелся! Тазик у них в углу, он мне приглянулся... Думал, вот бы его кислым молоком наполнить до краешка. Право, купил бы, ничего не пожалел!

— Шуточки оставь, и вот тебе мой наказ. — Председатель, видимо, лишь теперь дал выход гневу, который долго сдерживал: — Никогда не посягай на добро тех, кто и так разорен дотла. Понятно?

— Еще как понятно, аксакал.

— Смотри же! — Он сказал уже спокойно: — Ну,

а теперь веди к тому... к Апанасу... Уговорим Сергея отпустить, раз Прантишку нам не дали.

Старик Опанасенко жил неподалеку. Договориться с ним оказалось легче, чем с робким Дворжеком. Со следующего утра Сергей поступит в распоряжение Тураджана. Разошлись по домам в тот поздний час, когда старики читали последнюю — пятую — молитву...

4

Будто пощечина, оскорбили Камилу грязные намеки Зулайхи. Девушка, ничего не видя перед собой, опомнилась только возле своего дома. Вбежала в калитку, потом в свою комнату и бросилась на кровать, вся в слезах. А в груди обида жгучая, точно июльский зной.

Тогда, на арыке, она испытала мучительный стыд из-за того, что Тураджан увидел ее обнаженной. Но все же пережить это оказалось ей под силу. Ведь никто не знает, кроме них двоих. Это их общая тайна. А теперь... Как посмела тетушка Зулайха такое сказать? Боже упаси еще раз пережить подобное!.. «А ведь я сама кинулась его защищать,— минуту спустя пришло ей на ум.— Почему? Но тогда что же, пусть Тураджана бьют, а я буду стоять себе в сторонке?! Нет, ни за что!..»

Понемногу успокаиваясь, но все еще всхлипывая от обиды, Камила пыталась вспомнить, когда возникли в ее душе дружеские чувства к Тураджану, привязанность, готовность в любую минуту прийти ему на помощь? Но сколько ни раздумывала, не могла вспомнить, осмыслить, понять. Только в сердце вдруг словно затеплился огонек. Слезы еще не просохли на ресницах, а улыбка коснулась ее лица. Что же это за волшебное чувство, дарующее сердцу тепло, устам улыбку даже в тот миг, когда на ресницах еще не высохли слезы горькой, незаслуженной обиды?.. До сих пор отношения между ней и Тураджаном были чистыми, точно ключевая вода, прозрачными, как весеннее небо на рассвете. И вот Зулайха бесцеремонным своим вмешательством осквернила эту чистоту.

Эх вы, взрослые, повидавшие жизнь! Всегда вы готовы обвинить молодых, если даже сами кругом виноваты. Как смеете невинное, светлое чувство превращать в игрушку, в посмешище?!

...Так ярко вспыхивали все эти мысли в сознании девушки, что, казалось, вот-вот осветят комнату, прогонят

тьму... В тот же миг снаружи донеслись звуки шагов. Камила хотела поглядеть, но не было сил голову оторвать от подушки.

— Камила! — прозвучал голос матери. — Ты чего лежишь в темноте, огня не зажигаешь?

Каждый день в это время, когда тетушка Ризван, усталая, возвращается с работы, Камила, приходявшая раньше матери, уже приберется в доме, засветит лампу, огонь разожжет в тандыре и хлопочет — ужин готовит... А сегодня...

Поспешно переодевшись, Ризван первым делом зажгла лампу. Комната слабо осветилась. Увидав на кровати дочь с разгоряченным лицом, мать встревожилась. Тотчас ладонь приложила ей ко лбу: так и есть, сильный жар!

— Что с тобой, бедняжка ты моя?

У Камилы раскрасневшиеся щеки и лоб покрыты капельками пота. Было видно, как бьется жилка на виске.

— В чем дело, говори же!

— Голова... — всхлипнула Камила.

— Ой, да что ж это такое! — воскликнула тетушка Ризван и живо принялась за дело: закутала дочку в одеяло, голову повязала платком: пусть, мол, вспотеет хорошенько. А сама взялась хлопотать по дому — кинула жару в самовар, стала готовить на ужин похлебку — хурду с перцем. Решила дать дочери съесть полмиски такой похлебki прямо с огня, — тогда, мол, живо поправится. Видать, на солнце девочка перегрелась, весь день ведь на жаре...

Все сегодня матери пришлось делать самой, со всем управляться. Помочь-то некому. Муж Расулджан вот уже полгода как на фронте. Время от времени приходят от него короткие письма. Он далеко, Ленинград обороняет.

Как только в кишлак привозят почту, люди настораживаются, как говорят, — сердца сжимают в кулаке. Ведь только что были «черные вести» сразу на Каримджана, младшего сына председателя, и на мужа Зулайхи. «Ладно, Камила дальше не сможет учиться, — сказал ее дед, отец тетушки Ризван. — Зато уж Кучкара выучу я сам!» И увез младшего внука к себе в город. «Хорошо, — согласилась тогда Ризван. — Пускай мальчик учится, а уж Камила останется со мной. Все-таки мне полегче». Что же такое сегодня с ней?

Ризван, погруженная в эти раздумья, на миг растерялась — за что еще приняться? Дел как будто не убавляется... Да, корову не подоила! Прихватив подойник, она направилась к хлеву. Оказалось, Пеструха даже не привязана. Между тем она обычно в это время уже дожевывает остатки положенной ей пищи. «М-мм...» — недовольно протянула Пеструха, увидев хозяйку с подойником. «Вот и корову не покормила... Да и что это сегодня с девчонкой?!»

В глубокой задумчивости сидя возле коровы, Ризван не спеша подоила ее, затем направилась к горящему очагу, приподняла крышку над казаном — как там хурда? Подбросила щепок в самовар.

Пришла Салима, мать Турадждана, принесла молоко, что накануне было надоено. Между ними уговор на тегишик<sup>1</sup>. Они с Ризван ровесницы, давние близкие подруги и работают вместе. Судьбы у них тоже схожие: мужей взяли на войну в один и тот же день. Общее горе... Дворы у них почти рядом, между ними только двор Зулайхи, которая доводится невесткой Гыясу: она жена его младшего брата. В этот день Салима отпросилась из бригады пораньше — дома неотложные дела.

— Ну, как живешь, подруженька? Не уставать тебе!..

— Входи, Салимахон.— У Ризван посветлело лицо.— Ты только погляди: прихожу с работы, а у дочки жар...

Слова тетки Информбюро тотчас пришли на память Салиме, но она не подала виду.

— Солнцем, поди, нажгло бедняжку. Лежит, не шелохнется. Вот сейчас приготовлю горькую хурду. Может, легче станет.

— Она дома лежит? — тихо спросила гостя и прошла в комнату. Ризван следом за ней.

Камила, вся закутанная, раскрасневшаяся от жара, лежала с закрытыми глазами.

— Что с тобой доченька? — ласково заговорила Салима.— Прихворнула, говоришь? Не беда, пройдет, моя бялочка!..

А про себя подумала: «Это все из-за ругани Зулайхи.

---

<sup>1</sup> Обычай, заключающийся в том, что две или более семей весь общий удой молока сегодня сосредотачивают в одной семье, завтра в другой и т. д.; это дает возможность заготовить вилок молочные продукты.

Молоденькая, не вытерпела...» Неожиданно для себя она в душе ощутила нежность, сострадание к этой девушке.

— Пройдет,— утешила подругу тетушка Салима.— А что-то сегодня нашего Тураджана не видать, не слышать. К нам эта заходила... тетка Информбюро. Так он уж больно ее не любит. Молча встал — да на улицу, так до сих пор и нету... Ну и болтливая же баба, право!

«Значит, и он встревожен!» — подумала Камила, когда женщины вышли. Весь разговор она не расслышала, но суть уловила.

Салима поставила подойник с молоком на край тандыра, замерила молоко, передала подруге. Та перелила молоко, смешала с тем, что сама надоила. «Проклятая, чего наговорила девушке! — продолжала Салима в душе корить Зулайху.— Услышала такое, враз немочь свалила бедняжку... «Черная весть» о муже пришла — ну и что же? Разве ж тебе одной?» Но ничего этого не сказала Салима, разговор перевела на другое:

— Никак война не кончается, подруженька. Будто дракон, насытиться не может. У всех одно на уме: закончилась бы поскорее!

— Да когда уж это будет? — с горестным вздохом отозвалась Ризван.

— Ох, подруженька, и на том спасибо,— соседке все хотелось утешить ее,— что дома наши не разорены. Что имели, то при нас, работаем, сил не лишены. А вон погляди на этих... поляков да украинцев: нищие, в чужих краях скитаются.

— Верно, милая!

— Тысяча благодарений аллаху, от наших мужей еще и письма приходят, хоть и запаздывают...

Поговорили подружки и как будто успокоились немного, перешли к делам насущным:

— Ты, подруженька, масло сегодня сбивала?

— Где там! Хотела катык<sup>1</sup> приготовить, да вон, видишь...— она кивнула в сторону дочери. Только бы не говорить о ее состоянии.— А нужно бы приготовить, отдать налог.

— Я тоже не сдала еще,— тетушка Салима поднялась.— Ну, я пойду.

— Погоди, подруженька, ужин готов!

---

<sup>1</sup> Густое кислое молоко.